

Александр Куприн

Как я был актером



Александр Иванович Куприн

Как я был актером

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172678*

Аннотация

«Эту печальную и смешную историю – более печальную, чем смешную, – рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом: после нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал...»

Как я был актером

Эту печальную и смешную историю – более печальную, чем смешную, – рассказывал мне как-то один приятель, человек, прошедший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом: после нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал.

I

Ну, вот... Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посредине этакая огромная колдобина, где окрестные хохлы, по пояс в грязи, продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор и, конечно, Соборная улица, с другой – городской сквер, с третьей – каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась, а на крыше и на карнизах сидят голуби; наконец, с чет-

вертой стороны впадает главная улица, с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариусом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в разных там Засельях, Замостьях, Заречьях, был расквартирован пехотный полк, в центре города стоял драгунский. В городском сквере возвышался летний театр. Вот и все.

Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также сквер, и театр, и мостовая на главной улице – все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко.

II

Как я попал туда – длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших *истинных* друзей, терпеть меня не могла. И у него и у меня было по несколько тысяч, скопленных тяжелым трудом: он, видите ли, служил много лет педагогом и в то же время страховым инспектором, а я целый год счастливо играл в карты. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и ре-

шили рискнуть. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже. Так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человек аккуратности немецкой.

И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в С. (это тот самый городишко, о котором идет речь) с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице – конечно, Петербургской – и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да, да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор вытащил мой бумажник – представьте, какие шутки шутит судьба! – в этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах – мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно, молчала из мелочной, ревливой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по

снятии печатей совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр пятьсот рублей. Да и то сказать – это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по двадцати и по тридцати слов.

III

Итак, я сижу в Петербургской гостинице уже девятый день. Вопли души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин – мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы – уже давно не верит ни одному моему слову. Я ему показываю некоторые письма и бумаги, из которых он мог бы и т. д., но он пренебрежительно отворачивает лицо и сопит. Под конец мне приносят обедать, точно Ивану Александровичу Хлестакову: «Хозяин сказал, что это в последний раз...»

И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что ни кормить меня, ни держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все.

Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по го-

роду. Помню, заходил я в какую-то транспортную контору и еще куда-то просить места. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы, между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Но ни на секунду мысль о самоубийстве не приходила мне в голову. Сколько, сколько раз в моей путаной жизни бывал я на краю этих мыслей, но, глядишь, прошел год, иногда месяц, а то и просто десять минут, и вдруг все изменилось, все опять пошло удачно, весело, хорошо... И в этот день, бродя по жаркому, скучному городу, я только говорил самому себе: «Да, дорогой Павел Андреевич, попали мы с вами в переплет».

Хотелось есть. Но по какому-то тайному предчувствию я все берег мои двадцать копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом: артистка петербургских театров г-жа Андронова и известный харьковский артист г. Лара-Ларский; другие были помельче: г-жи Вологодская, Медведева, Струнина-Дольская, гг. Тимофе-

ев-Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов-Ольгин, Духовской. Наконец самым меньшим набором стояло: Петров, Сергеев, Сидоров, Григорьев, Николаев и др. Режиссер г. Самойленко. Директор-распорядитель г. Валерьянов.

На меня снизошло внезапное вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив, к парикмахеру Теодору из Москвы, и на последний двугривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный! Что за угрюмое, босое лицо взглянуло на меня из зеркала! Я не хотел верить своим глазам. Вместо тридцатилетнего мужчины не слишком красивой, но, во всяком случае, порядочной наружности, там, в зеркале, напротив меня, сидел, обвязанный по горло парикмахерской простыней, – старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик, со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый.

– В нашем театре будете служить? – спросил меня парикмахерский подмастерье, отрясая простыню.

– Да! – ответил я гордо. – Получи!

IV

По дороге к городскому саду я размышлял:
«Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне ста-

рого, опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромн... рублей пятьдесят... ну, сорок в месяц. Будущее покажет... Прошу аванс... рублей в двадцать... нет, это много... рублей в десять... Первым делом пошлю потрясающую телеграмму... пятью пять – двадцать пять, да ноль – два с полтиной, да пятнадцать за подачу – два рубля шестьдесят пять... На остальные как-нибудь продержусь, пока не придет Илья... Если они захотят испытать меня... ну что ж... я им произнесу что-нибудь... вот хотя бы монолог Пимена».

И я начал вслух, вполголоса, торжественным утробным тоном:

Еще одно-о после-еднее сказа-анье.

Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузил-ся и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду. Там играл военный оркестр, по дорожкам, шаркая ногами, ходили тоненькие местные барышни в розовом и голубом, без шляпок, а за ними увивались с непри-нужденным смехом, заложив руку за борт кителя, с белыми фуражками набекрень, местные писцы, теле-графисты и акцизники.

Ворота были открыты настежь. Я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спро-сил небрежно: где здесь распорядитель, господин Ва-

лерьянов? Мне тотчас же указали на двух бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел и остановился в двух шагах.

Они не замечали меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их: один, в легкой панаме и в светлом фланелевом костюме с синими полосками, имел притворно благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой, другой, в серенькой одежде, был необыкновенно длинноног и длиннорук, ноги у него как будто бы начинались от середины груди, и руки, вероятно, висели ниже колен, — благодаря этому, сидя, он представлял собою причудливую ломаную линию, которую, впрочем, легко изобразить при помощи складного аршина. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза. Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне.

— Могу я видеть господина Валерьянова? — спросил я ласково.

— Это я, — ответил рябой, — что вам угодно?

— Видите ли, я хотел... — у меня что-то запершило в горле, — я хотел предложить вам мои услуги в качестве... в качестве, там, второго комика, или... вот... третьего простака... Также и характерные...

Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой.

– А вы где раньше служили? – спросил господин Валерьянов.

Я только один раз был на сцене, когда играл Марку в любительском спектакле, но я судорожно напрягал воображение и ответил:

– Собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил... Но мне приходилось играть в маленьких труппах в Юго-Западном крае... Они так же быстро распадались, как и создавались... например, Маринич... Соколовский... и еще там другие...

– Слушайте, а вы не пьете? – вдруг огорошил меня господин Валерьянов.

– Нет, – ответил я без запинки. – Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно.

Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза, на песок, подумал и сказал:

– Ну хорошо... я беру вас. Пока что двадцать пять рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру.

Я пошел на сцену и дорогой думал: почему он не спросил моей театральной фамилии? Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет? Но на всякий случай я тут же по

пути изобрел себе фамилию – не особенно громкую, простую и красивую – Осинин.

V

За кулисами я разыскал Духовского – вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он, в свою очередь, представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако сквозь эту оболочку я успел разобрать, что Самойленко толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал:

– Пойдите-ка... как вас?.. Я не расслышал фамилии...

– Васильев! – услужливо подскочил Духовской.

Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно.

– Вы вот что, Васильев... Вы сегодня не уходите... Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту.

Таким-то образом из Осинина я и сделался Васи-

льевым и остался им до самого конца моей сценической деятельности, в ряду с Петровым, Ивановым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и др. Неопытный актер – я лишь спустя неделю догадался, что среди этих громких имен лишь одно мое прикрывало реальное лицо. Проклятое созвучие погубило меня!

Пришел портной – тощий, хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер. Я в нем узнал того самого подмастерья от Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйтесь же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина с глубокомысленным лбом, оборвал меня:

– Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски.

Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь!» А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жестокие брови. Сделал под глазами синяки. Потом подумал: что бы мне еще сделать?

Прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей.

– Васильев, приготовьтесь! – крикнули сверху.

Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской.

– Сейчас вам выходить. Фу, черт, на кого вы похожи! Как только скажут: «Нет, он вернется» – идите! Войдите и скажите... – Он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл: – «Такой-то требует свиданья...» – и назад. Поняли?

– Да.

«...Нет, он вернется!» – слышу я и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. Черт его побери, как зовут этого человека? Секунда, другая молчания... Зрительная зала – точно черная шевелящаяся бездна. Прямо предо мной на сцене ярко освещены лампой незнакомые мне, грубо намазанные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора:

– Да! Он вернулся!

Мимо проносится, как ураган, в своем золотом панцире Самойленко. Слава Богу! Я скрываюсь за кулисы.

В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. (Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова?) Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке; он же был и известный харьковский артист Лара-Ларский. Подхватили мы его довольно неловко – он был мускулист и тяжел, – но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом: «Чтоб вас черт, олухи!» Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась.

В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто, когда вошел Бен-Акиба и все перед ним встали, я, по ротозейству, продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локтя и зашипел:

– Вы с ума сошли. Это Бен-Акиба! Встаньте!

Я поспешно встал. Но, ей-богу, я не знал, что это Бен-Акиба. Я думал: так себе, старичок. По окончании пьесы Самойленко сказал мне:

– Васильев, завтра в одиннадцать на репетицию.

Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано.

VI

Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было. Только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготавливали завтрак или утренний кофе.

Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракали на свежем воздухе распорядитель театра господин Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова-Черногорская, дама лет шестидесяти пяти, которая содержала как театр, так и самого распорядителя.

Была постлана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба – белого и ситного...

Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мяг-

кий! Такой прекрасный! Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо:

– Это что же такое?

Какая-то жгучая, презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо:

– Это то... что с третьего дня, с четырех часов... я ровно ничего еще не ел...

Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно побежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело! «Чудесно! – думал я. – Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию... подыметесь гам, ругань, свалка... О, как великолепно буду я бить эти самые тарелки и судки об их головы. Я искусаю их до крови!»

Но вот, я вижу, мой лакей бежит ко мне... и... один. Немного запыхался. Подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь... И вдруг он из-под фартука сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленной, и умоляюще шепчет:

– Пожалуйста... прошу вас... кушайте.

Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, си-

дя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал.

Я потом часто, почти ежедневно, видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя – признаюсь – бывал иногда голоден, как волк зимой.

Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными таракаными усами и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги и моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей! Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег – разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память... Какую-нибудь безделицу... Или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам – у него их была целая куча, и иногда по утрам они прибежали к нему... суетливые и крикливые, как воробьята.

Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы, и я даже знал за что. Рот-

мистру фон Брадке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал:

– Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?..

Сергей осмелился заметить, что это не его вина, а повара и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко:

– Извините, сударь.

Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и, весь багровый, заорал:

– Что-о? Я тебе сударь? Я т-тебе сударь? Я тебе не сударь, а государю моему штабс-ротмистр! Хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, чтоб сегодня же убрали этого идиота! Чтоб его и духу не было! Иначе моя нога в вашем кабаке не будет!

Штабс-ротмистр фон Брадке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера. И я сам, выходя во время антрактов в сад освежиться, долго еще слышал негодующий, раскатистый голос, шедший из беседки:

– Нет, каков мерзавец! Сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!

VII

Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Quo vadis»¹.

Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные громкие слова, вроде того, что «твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности!» или «Она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, и я уже готовил про себя мужественный голос этакого старого рубаки, сурового и преданного...

Но по мере того как шла репетиция, со мной стала происходить странная история: я, неожиданно для себя самого, начал дробиться и множиться. Например: матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следил за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит:

– Вошел раб!

Никто не входит.

¹ «Камо грядеши» (лат.).

– Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?

Духовской поспешно роется в каких-то листках. Раба не оказывается.

– Вымарать, что там! – лениво советует Боев, тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краски которого я залез накануне пальцем.

Но Марк Великолепный (Лара-Ларский) вдруг обижается:

– Нет, уж пожалуйста... Тут у меня эффектный выход... Я эту сцену без раба не играю.

Самойленко мечется глазами по сцене и натывается на меня.

– Да вот... позвольте... позвольте... Васильев, вы в этом акте заняты?

Я смотрю в тетрадку.

– Да. В самом конце...

– Так вот вам еще одна роль – раба Вероники. Читайте по книге. – Он хлопает в ладоши. – Господа, прошу потише! Раб входит... «Благородная госпожа...» Громче, громче, вас в первом ряду не слышно...

Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции (у Сенкевича она – Лигия), и эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции у меня, не считая центуриона, было еще пять

добавочных ролей.

Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первые слова:

– О Марк Великолепный...

Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам.

– Что-с? Что вы такое бормочете? Ничего не понимаю.

– О Марк Великолепный...

– Виноват. Ничего не слышу... Громче! – Он подходит ко мне вплотную. – Вот как надо это произносить... – И горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад: – О Марк Великолепный, твое повеление... Вот как надо... Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов: «На сцене не говорят, а произносят, не ходят, а выступают». – Он самодовольно оглядел кругом. – Повторите.

Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно и учили до самого конца репетиции положительно все: и гордый Лара-Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка... Я походил на

задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также и на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных школяров.

На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло.

Я произносил одну из своих непрерывных реплик: «О Марк Великолепный», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко.

– Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте. Не так, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному? Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в Древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Смотрите: вот, вот жест.

Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонь лодочкой.

– Видите, каков жест? Поняли? Повторите.

Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение:

– Извините... но мне кажется, что военная выправка... она вообще как-то избегает согбенного положения... и, кроме того... вот тут ремарка... выходит в ла-

тах... а согласитесь, что в латах...

– Извольте молчать! – крикнул гневно Самойленко и сделался пурпурным. – Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить.

Я повторил. Вышло еще безобразнее. Но тут за меня вступился Лара-Ларский.

– Оставь, Борис, – сказал он нехотя Самойленке, – видишь, у него не вытанцовывается. И, кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний... Вопрос... мм... спорный...

Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом. Но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Что касается меня... Видите ли, с тех пор прошло уже десять лет, но до сего дня, как только я вспомню этого человека, злоба подымается у меня из груди и душит меня за горло. Правда, перед отъездом... впрочем, об этом скажу потом, иначе придется повредить стройности рассказа.

Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пугови-

цы. Все глядели на него с омерзением, но замечания ему никто не сделал.

– Кто это? – спросил я шепотом у Духовского.

– Э! Пьяница! – ответил тот небрежно. – Нелюбов-Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек – он иногда и играет, когда трезв, – но совсем, окончательно пропойца. А заменить его некем: дешев и пишет декорации очень скоро.

VIII

Репетиция кончилась. Расходились. Актеры острились, играя словами: Мерция-Коммерция. Лара-Ларский многозначительно звал Боева «туда». Я догнал в одной из аллей Валерьянова и, едва поспевая за его длинными шагами, сказал:

– Виктор Викторович... я бы очень попросил у вас денег... хоть немножко.

Он остановился и едва мог прийти в себя от изумления.

– Что? Каких денег? Зачем денег? Кому?

Я стал объяснять ему мое положение, но он, не дослушав меня, нетерпеливо повернулся спиной и пошел вперед. Потом вдруг остановился и подозвал меня.

– Вы вот что... как вас... Васильев... Вы подите к

этому... к своему хозяину и скажите ему, чтобы он наведалься сюда, ко мне. Я здесь пробуду в кассе еще с полчаса. Я с ним переговорю.

Я не пошел, а полетел в гостиницу! Хохол выслушал меня с мрачной недоверчивостью, однако надел коричневый пиджак и медленно поплелся в театр. Я остался ждать его. Через четверть часа он вернулся. Лицо его было, как грозовая туча, а в правой руке торчал пучок красных театральных контрамарок. Он сунул мне их в самый нос и сказал глухим басом:

– Бачите! Ось! Я думал, он мне гроши даст, а он мне – якись гумажки. На що воны мини!

Я стоял сконфуженный. Однако и бумажки принесли некоторую пользу. После долгих увещеваний хозяин согласился на раздел: он оставил себе в виде залога мой прекрасный новый английский чемодан из желтой кожи, а я взял белье, паспорт и, что было для меня всего дороже, мои записные книжки. На прощанье хохол спросил меня:

– А що, и ты там будешь дурака валять?

– Да, и я, – подтвердил я с достоинством.

– Ого! Держись. Я как тебе забачу, зараз скричу: а где мои двадцать карбованцев?

Три дня подряд я не смог беспокоить Валерьянова и ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. Две ночи, благодарение Богу,

были теплые; я даже чувствовал, лежа на скамейке, как от каменных плит тротуара, нагревшихся за день, исходит сухой жар. Но на третью шел мелкий, долгий дождик, и, спасаясь от него под навесами подъездов, я не мог заснуть до утра. В восемь часов отворили городской сад. Я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на два часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и язвительно внушал мне, что театр – это храм искусства, а вовсе не дортуар, и не будуар, и не ночлежный дом. Тогда я опять решил догнать в аллее распорядителя и попросить у него хоть немного денег, потому что негде ночевать.

– Позвольте-с, – развел он руками, – да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька.

Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье:

– Разве... вот что... Хотите, ночуйте в театре? Я говорил об этом сторожу, но он, дурак, боится.

Я поблагодарил.

– Только один уговор: в театре не курить. Захотите курить – выходите в сад.

С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда я ходил за три версты на речку, мыл там в

укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветл. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные двадцать-тридцать копеек я бывал сыт два дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль, и я тотчас же послал Илье телеграмму: «Умираю голоду переведи телеграфом С. театр Леонтовичу».

IX

Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще две роли: древнего христианского старца и Тигеллина. Я взял их безропотно.

К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев-Сумской. Это был плечистый мужчина, вершков четырнадцати ростом, уже немолодой, курчавый, рыжий, с вывороченными белками глаз, рябой от оспы – настоящий мясник или, скорее, палач. Голос у него был непомерный, и играл он в старой, воющей манере:

И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик.

Роли своей он не знал совершенно (он играл Нерона), да и читал ее по тетрадке с трудом, при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили:

– Вы бы, Федот Памфилович, хоть немного рольку-то подучили, – он отвечал низкой октавой:

– Наплевать. Сойдет. Пойду по суфлеру. Не впервой. Публика все равно ничего не понимает. Публика – дура. С моим именем у него все выходили нелады. Он никак не мог выговорить – Тигеллин, а звал меня то Тигелинием, то Тинегилом. Каждый раз, когда его поправляли, он рывкал:

– Плевать. Ерунда. Стану я мозги засаривать!

Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке зэт и произносил:

– Вымарываю.

Впрочем, вымарывали все. От пьесы-ботвиньи осталась только гуца. Из длинной роли Тигеллина получила всего одна реплика.

Нерон спрашивает:

– Тигеллин! В каком состоянии львы?

А я отвечаю, стоя на коленях:

– Божественный цезарь! Рим никогда не видал таких зверей. Они голодны и свирепы.

Вот и все.

Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала

была полна. Снаружи, вокруг барьера, густо чернела толпа бесплатных зрителей. Я волновался.

Боже мой, как они все отвратительно играли! Точно они заранее сговорились словами Тимофеева: «Наплевать, публика – дура». Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое-старенькое, давно примелькавшееся десяткам поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего десятка два заученных интонаций и десятка три зазубренных жестов вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось: каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений!

Тимофеев-Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала на половину сцены, с шутовской короной набекрень, он вперял вращающиеся белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил. Он просто заорал на меня, как купец в бане:

– Телянтин! Поддай сюда моих львов и тигров. Жива!

Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно,

всех хуже был Марк Великолепный – Лара-Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов сладкая тянучка, из-за повелительных реплик римского воина-патриция выглядывал русский брандмайор. Зато поистине была прекрасна Андросова. Все в ней было очаровательно: вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так же просто, естественно и красиво, как поют птицы.

Я с настоящим художественным наслаждением, иногда слезами, следил за нею сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены.

Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева. Иванова и Васильева присоединить еще Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, потом побежал за кулисы, сбросил куту и уже выступил центурионом в латах и шлеме, с голыми ногами, потом опять исчез и опять вылез христианским старцем. Во втором акте я был цен-

турионом и рабом. В третьем – двумя новыми рабами. В четвертом – центурионом и еще двумя чьими-то рабами. В пятом – домоуправителем и новым рабом. Наконец, я был Тигеллином и в заключение безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену, на съедение львам.

Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно:

– Черт вас возьми! Вы какой-то трансформист.

Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости.

Спектакль окончился. Сторож тушил лампы. Я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, который висел у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. (С тех пор как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку.) Вдруг я услышал сзади себя голос:

– До свиданья, Васильев.

Я обернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено.

Надо сказать, что изо всей труппы только она, не считая маленьких, Духовского и Нелюбова-Ольгина,

подавала мне руку (остальные гнушались). И я даже до сих пор помню ее пожатие: открытое, нежное, крепкое – настоящее женственное и товарищеское пожатие.

Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

– Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид. – И добавила тише: – Может быть, вам нужны деньги?.. а?.. займы...

– О нет, нет, благодарю вас! – перебил я искренно. И вдруг, повинувшись безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: – Как вы были прекрасны сегодня!

Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась:

– Я рада, что доставила вам удовольствие.

Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу:

– Андросова! Где вы там? Идите, вас ждут ужинать.

– До свиданья, Васильев, – сказала она просто и ласково, потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: – Ах, бедный вы, бедный...

Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту. Но мне казалось, что, если бы она на прощанье коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья!

Х

Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе Несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки... И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница.

Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества, – прямо какие-то хамские, дубленые души! И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно-отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами... Недаром Чехов сказал как-то: «Более актера истеричен только околоточный. Посмотрите, как они оба в царский день стоят перед буфетной стойкой, говорят речи и плачут».

Но театральные традиции хранились у нас непо-

колебимо. Какой-то Митрофанов-Козловский, как известно, перед выходом на сцену всегда крестился. Это всосалось. И каждый из наших главных артистов перед своим выходом непременно проделывал то же самое и при этом косил глазом вбок: смотрят или нет? И если смотрят, то, наверно, уж думают: как он суеверен!.. Вот оригинал!..

Какой-то из этих проститутов искусства, с козлиным голосом и жирными ляжками, прибил однажды портного, а в другой раз парикмахера. И это также вошло в обычай. Часто я наблюдал, как Лара-Ларский метался по сцене с кровавыми глазами и с пеной на губах и кричал хрипло:

– Дайте мне этого портного! Я убью этого портного!

А потом, уже ударив этого портного и в тайне души ожидая и побаиваясь крепкого ответа, он простирал назад руки, дрожал и вопил:

– Держите меня! Держите! Иначе я в самом деле сделаюсь убийцей!

Но зато как проникновенно они говорили о «святом искусстве» и о сцене! Помню один светлый, зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара-Ларский и его театральная жена – Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара-Ларский ходит взад

и вперед по сцене. Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему:

– Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из «Паяцев».

Он останавливается, меряет ее с ног до головы выразительным взглядом и произносит, косясь на партер, бархатным актерским баритоном:

– Свистать? На сцене? Ха-ха-ха! (Он смеется горьким актерским смехом). Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена – это хра-ам, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания. И вдруг – свистать! Ха-ха-ха...

Однако в этот же самый алтарь, в дамские уборные, ходили местные кавалеристы и богатые бездельники-помещики совершенно так же, как в отдельные кабинеты публичного дома. На этот счет мы вообще не были щепетильны. Сколько раз бывало: внутри виноградной беседки светится огонь, слышен женский хохот, лязганье шпор и звон бокалов, а театральный муж, точно дозорный часовой, ходит взад и вперед по дорожке около входа в темноте и ждет, не пригласят ли его. И лакей, пронося на высоко поднятом подносе судака о-гратен, толкнет его локтем и скажет сухо:

– Посторонитесь, сударь.

А когда его позовут, он будет кривляться, пить водку с пивом и уксусом и рассказывать похабные анекдоты из еврейского быта.

Но все-таки об искусстве они говорили горячо и гордо. Тимофеев-Сумской не раз читал лекцию об утерянном «классическом жесте ухода».

– Утерян жест классической трагедии! – говорил он мрачно. – Прежде как актер уходил? Вот! – Тимофеев вытягивался во весь рост и подымал кверху правую руку со сложенными в кулак пальцами, кроме указательного, который торчал крючком. – Видите? – И он огромными медленными шагами начинал удаляться к двери. – Вот что называлось «классическим жестом ухода»! А что теперь? Заложил ручки в брючки и фить домой. Так-то, батеньки.

Иногда они любили и новизну, отсебятину. Лара-Ларский так, например, передавал о своем исполнении роли Хлестакова:

– Нет, извольте. Я эту сцену с городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват. А я отвечаю: «Да. Захочешь почитать что-нибудь, например *Максима Горького*, – нельзя! Темыно, тем-мыно!» И всегда... аплодисмент!

Хорошо было послушать, как иной раз разговаривают в подпитии старики, например Тимофеев-Сумской с Гончаровым.

– Да, брат Федотушка, не тот ноне актер пошел. Нет, брат, не то-от.

– Верно, Петряй. Не тот. Помнишь, брат, Чарского, Любского!.. Э-хх, брат!

– Заветы не те.

– Верно, Петербург. Не те. Не стало уважения к святости искусства. Мы с тобой, Пека, все-таки жрецами были, а эти... Э-хх! Выпьем. Пекаторис.

– А помнишь, брат Федотушка, Иванова-Козельского?

– Оставь, Петроград, не бреди. Выпьем. Куда те-перешним?

– Куда!

– Ку-уда!

И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата – поистине служила искусству Андросова, такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь, став старше, я понимаю, что она так же не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота.

XI

Пьесы ставились, как на курьерских. Небольшие

драмы и комедии шли с одной репетиции, «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» – с двух, «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около сорока статистов из местных команд: гарнизонной, конвойной и пожарной.

Особенно памятно мне представление «Смерти Иоанна Грозного», – памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев-Сумской. В парчовой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха – он походил на движущийся обелиск. Для того чтобы придать грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал, как никогда.

Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика – дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличался он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами: «Острупился мой ум» и т. д.

И вот он доходит до слов: «Аки пес смердящий...» Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит: «Аки!» – и умолкает.

- Аки пес смердящий... – шепчет суфлерша.
- Паки! – ревет Тимофеев.
- Аки пес...
- Каки!
- Аки пес смердящий...

Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной – я в это время стоял около трона – вдруг случился неудержимый припадок смеха. Ведь всегда так бывает: когда знаешь, что нельзя смеяться, – тогда именно и овладевает тобою этот сотрясающий, болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь, – иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота; захожу за трон и... вижу, что там прижались к спинке и трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на *мой* диван, и стал по нему кататься... Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на пять рублей.

Да и вообще этот спектакль изобиловал приключениями. Я забыл сказать, что у нас был актер Романов, очень красивый, высокий, представительный молодой человек на громкие и величественные второ-

степенные роли. К сожалению, он отличался чрезвычайной близорукостью, так что даже носил стекла по какому-то особенному заказу. На сцене, без пенсне, он вечно натыкался на что-нибудь, опрокидывал колонны, вазы и кресла, путался в коврах и падал. Он уже был давно известен тем, что в другом городе и в другой труппе, играя в «Принцессе Грезе» зеленого рыцаря, он упал и покатился в своих жестяных латах к рампе, громяхая, как огромный самовар. В «Смерти Иоанна Грозного» Романов, однако, превзошел самого себя. Он ворвался в дом Шуйского, где собрались заговорщики, с такой стремительностью, что опрокинул на пол длинную скамью вместе с сидевшими на ней боярами.

Эти бояре были очаровательны. Все они были набраны из молодых караимчиков, служивших на местной табачной фабрике. Я выводил их на сцену. Я небольшого роста, но самый высокий из них приходился мне по плечо. Притом половина из этих родовитых бояр была в кавказских костюмах с газырями, а другая половина – в кафтанах, взятых напрокат из местного архиерейского хора. Прибавь-те еще к этому мальчишеские лица с подвязанными черными бородами, блестящие черные глаза, восторженно раскрытые рты и застенчиво-неловкие движения. Публика приветствовала наш торжественный выход друж-

ным ржанием.

Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещали. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылался Харитоненке билет на ложу. Сам он бывал редко – не более двух раз за весь сезон, но каждый раз присылал по сту рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалованья, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной клячи кусок сена для того, чтобы она скорее бежала.

XII

Однажды – не помню почему – спектакля не было. Стояла скверная погода. В десять часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу. Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного Нелюбова-Ольгина, который беспомощно шаршился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился:

– К' кого ч-черта вы тут делаете?

Я объяснил ему в двух словах. Заложив руки в карманы панталон и кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки. Потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал:

– А п'чему не ко мне?

– Мы с вами так мало знакомы...

– Чепуха. Пойдем!

Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа и до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего с-ого исправника. Этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком, с большим запасом внутренней деликатности, и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, незалечимая трещина, нанесенная женщиной. Я никогда, впрочем, не мог понять, в чем суть его неудачного романа. Будучи пьяным, он часто вытаскивал из своей дорожной корзинки портрет какой-то женщины, не очень красивой, но и не дурной, немного косенькой, со вздернутым вызывающим носиком, несколько провинциальной наружности. Он то целовал эту фотографию, то швырял ее на пол, прижимал ее к сердцу и плевал на нее, ставил ее в угол на образ и потом капал на нее стеарином. Я

не мог также разобраться, кто из них кого бросил и о чьих детях шла речь: его, ее или кого-то третьего.

Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму, чтобы послать ей, и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Изредка он подрабатывал несколько копеек у местного живописца вывесок. Но этот заработок был большим секретом от труппы: помилуйте, разве Лара-Ларский вытерпел бы такое надругание над искусством!

Наш хозяин – отставной исправник – толстый, румяный мужчина в усах и с двойным подбородком, был человек большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того, когда в доме у него отпивали чай, нам принесли вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. Мы бывали сыты.

После послеобеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же – о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовался с нами, как бы это ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала и чтобы губернатор с вице-губер-

натором, с нынешним исправником и с подлецом-приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил:

– Эх, не то... Не то, не то... Вот если бы мне найти человека с пером! Перо бы мне найти! Никаких денег не пожалею.

А у него – каналы – были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки.

По ночам, после спектакля, мы иногда бродили с Нелюбовым по саду. В тихой, освещенной огнями зелени повсюду уютно стояли белые столики, свечи горели не колеблясь в стеклянных колпачках. Женщины и мужчины как-то по-праздничному, кокетливо и значительно улыбались и наклонялись друг к другу. Шуршал песок под легкими женскими ножками...

– Хорошо бы нам найти карася! – говорил иногда сиплым баском Нелюбов и поглядывал на меня лукаво сбоку.

Меня сначала коробило. Я всегда ненавидел эту жадную и благородную готовность садовых актеров

примазываться к чужим обедам и завтракам, эти собачьи, ласковые, влажные и голодные глаза, эти неестественно развязные баритоны за столом, это гастрономическое всезнайство, эту усиленную внимательность, эту привычно фамильярную повелительность с прислугой. Но потом, ближе узнав Нелюбова, я понял, что он шутит. Этот чудак был по-своему горд и очень щекотлив.

Но вышел один смешной и чуть-чуть постыдный случай, когда сам карась поймал меня с моим другом в кулинарную сеть. Вот это как было.

Мы с ним выходили последними из уборной после представления, и вдруг откуда-то из-за кулис выскочил на сцену некто Альтшиллер... местный Ротшильд, еврей, этакий молодой, но уже толстый, очень развязный, румяный мужчина, сладострастного вида, весь в кольцах, цепях и брелоках. Он бросился к нам.

– Ах, Боже мой... я уже вот полчаса везде бегаю... сбился с ног... Скажите, ради Бога, вы не видели Волкову и Богучарскую?

Мы действительно видели, как эти артистки сейчас же после спектакля уехали кататься с драгунскими офицерами, и любезно сообщили об этом Альтшиллеру. Он схватился за голову и заметался по сцене.

– Но это же безобразие! У меня заказан ужин! Нет, это просто Бог знает что такое: дать слово, обещаться

и... Как это называется, господа, я вас спрашиваю?

Мы молчали.

Он еще покрутился по сцене, потом остановился, помялся, почесал нервно висок, почмокал в раздумье губами и вдруг сказал решительно:

– Господа, я вас покорнейше прошу отужинать со мной.

Мы отказались.

Но не тут-то было. Он прилип к нам, как клей-синдетикон. Он кидался то к Нелюбову, то ко мне, тряс нам руки, заглядывал умильно в глаза и с жаром уверял, что он любит искусство. Нелюбов первый дрогнул.

– А, черт! Пойдем, в самом деле. Чего там!

Меценат повел нас на главную эстраду и засуетился. Выбрал наиболее видное место, усадил нас, а сам все время вскакивал, бегал вслед за прислугой, размахивал руками и, выпив рюмку доппелькюммеля, притворялся отчаянным кутилой. Котелок у него был для лихости на боку.

– Может быть, огуречика? Как это по-русски говорится? Значит, эфто без огуречика никакая пишшыя не проходит. Так? А водочки? Пожалуйста, кушайте... кушайте до конца, прошу вас. А может быть, бефстроганов? Здесь отлично готовят... Псст! Человек!

От большого куса горячего жареного мяса я опьянел, как от вина. Глаза у меня смыкались. Веранда с

огнями, с синим табачным дымом и с пестрой скачкой болтовни плыла куда-то вбок, мимо меня, и я точно сквозь сон слышал:

– Пожалуйста, кушайте еще, господа... Не стесняйтесь. Ну, что я могу с собой поделатать, когда я так люблю искусство!..

XIII

Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдерживать себя, убегал с репетиций куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье.

Самойленко продолжал терзать меня. Знаете, иногда бывает в закрытых учебных заведениях, что учитель вдруг ни с того ни с сего возненавидит какого-нибудь замухрышку-ученика: возненавидит за бледность лица, за торчащие уши, за неприятную манеру дергать плечом, – и эта ненависть продолжается целые годы. Так именно относился ко мне Самойленко. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на пятнадцать рублей и на репетициях обращался со мною, по крайней мере, как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания,

я опускал веки и видел у себя пред глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил всего-навсего один рубль.

Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой, черной, беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию.

Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова: «Я это заслужил».

И вот пьеса доходит до этого места.

– Я это заслужил, – говорю я.

Но Самойленко подбегает ко мне и вопит:

– Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил! Надо говорить: я на это заслужил! Бездарность!

Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами:

– Извольте справиться с текстом...

Но он выкрикнул горлом:

– Плевать на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить – убирайтесь к черту!

Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все,

поблел так же, как и я, и быстро отступил на два шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке, и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще, и еще. Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня.

И вот случилось чудо! Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка-рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на пятьсот рублей.

Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак, а через два часа вся труппа чокалась со мною шампанским и поздравляла меня. Честное слово: это не я, а Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в шестьдесят тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи, и я подарил ему сто рублей.

В пять часов вечера я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более семидесяти рублей, но я чувствовал себя Цезарем. Когда, после второго звонка, я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался

в отдалении.

– Простите меня, я погорячился, – сказал он театрально.

Я пожал протянутую руку и ответил любезно:

– Простите, я тоже погорячился.

Мне прокричали «ура» на прощанье. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. Пошел поезд, и все ушло назад, навсегда, безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избушки Заречья и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь – странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души.